

1

...И если нам, живущим, говорить,
то лишь о том, что снег пошел,
что снег растаял. Странно и светло.

Когда я детскими руками синицу хоронил,
кругом вода стояла
и принимала небо полной грудью,
уставшей кроны черный круг в саду.

Я знаю, как на самом деле было,
как птицы волокли листву чудную,
проворно собирая на лету,
в какую-то иную темноту,
как бы в карман прохожего.

И мир не знал плохого и хорошего,
и поздней осенью не ждали никого.

Казалось так всегда: от первых птиц,
бессонных и стремящихся куда-то,
за слово и полет, как тень, расплата,
как судный день, молчанье настаёт.

2

Что снится дереву, где листья сочтены?
Сплошное убывание повсюду,
прислушаешься — страшно тишины,
но у листвы — любое слово чудо,
любое слово — чудо у листвы

в моем саду, который сад и суд,
где тени птичьи мокрый снег несут,
взметнувшиеся тени,
а я лежу — рассыпан и растерян,
как бусы на полу
или синица в страшном темном царстве.

И не бывает в жизни хорошо.
Я говорю о том, что снег пошел.
О том, что он растаял, скажут после.

* * *

На приколе лодка мокла,
листья падали и были
так прозрачны, словно стекла
или слезы на могиле.

Что сказать о светлой боли,
странной боли о былом?
В помертвевшем чистом поле
я один, как в горле ком.

Остается след цензуры —
черной тушью из письма.
Это не литература.
Это музыка сама.

* * *

В снег так просто сойти
и с ума, и с земли — не заметят.
Замело запасные пути
и, как зайцы зимой,
стали белыми черти.
Не на свете живу —
в свою тень убываю из света
(так расходится звуком в траву
одряхлевшее лето).
Под просторным безлиственным лбом —
жди не жди — ничего не случится.
Оставляю, как жизнь, на потом,
как ресничку в глазу голубом:
утону — за нее зацепиться.

* * *

Цветок ручной в подробной тишине
нести тебе как маленькое знамя,
где все в округе помнит обо мне,
но ничего не знает.
По кисти опрокинутой пройдем —
не может быть, чтоб никого не ждали!
Подышим на февральское стекло:
холодный свет и очертанья зданий.
Просторно.
Только шепот — как трава —
талантлив, непонятен и правдив.
И хорошо, что горе-голова
не умирает, не договорив.

Оставшийся взлетает и парит
над постоянством. Сумеречный вид
не тяготит, но к жизни возвращает.
И облако над яблоней болит
и всю огромность родины вмещает,

где только свет, где только свет нести
от смерти и тоски, от глупости
в пространство сна и клетчатого лета,
где шепчет мальчик: «Господи, прости!» —
а вдруг не хватит радости и света...

К земле вернется аист-атеист —
бесплодный, грустный, как осенний лист, —
и растворится в немоте вещей.
И ничего не будет вообще.

* * *

Наша комната — скворечня зимой,
мы — птенцы — не научились летать.
Если ты со мной — будь со мной,
как раскрытая ветром тетрадь.

И наполнится снегом страна
по мои голубые глаза,
будто прахом или пухом полна —
чтоб ни взгляда и ни шага назад,

чтобы быть на земле землей
и в хрустальном саду звенеть
веткой сливы, как смерть, одной,
веткой сливы одной, как смерть.

* * *

Я молод. И мне нечего сказать
о имени и времени своем.
Как ветка жилиста, повернутая вспять
сочувствием воды, когда вдвоем

проходим сквером оттепельным, где
скворец неприлетевший говорит.
Он замер. Он по клювик в воздух вбит.

А наши речи и верней, и глуше:
как холодно в России, как светло
и как могло быть хуже.